

ПИСЬМО ИЗ ИТАЛИИ:
«ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ» РУССКОЙ МЫСЛИ

Владимир Корнельевич Зелинский

Православный священник, писатель, богослов,
журналист, переводчик, доктор богословия (Италия)
E-mail: vladimir.zelinsky@gmail.com

THE LETTER FROM ITALY:
«DIE GRENZENSITUATION» OF RUSSIAN THOUGHT

Vladimir Zelinsky

Orthodox priest, writer, theologian,
journalist, translator, Dr. of Theology (Italy)
Email: vladimir.zelinsky@gmail.com

В статье содержится анализ сборника «Из глубины», созданного в 1918 г. виднейшими русскими мыслителями начала прошлого века в качестве отклика на революцию 1917 г. Каждый из них воспринял события как катастрофу, в которой повинен утопизм русской интеллигенции в целом. Название работы указывает не только на временную границу между «Россией, которую мы потеряли», и пореволюционной Россией — областью бесконечного насилия, которому подвергались сами пишущие, но и на пережитый ими изнутри опыт пограничной ситуации суда, вины, покаяния и надежды.

The paper analyzes the collective work «De Profundis» of some outstanding Russian thinkers written a century ago who searched to understand the Revolution of 1917. Each of them perceived it as catastrophe, provoked first of all by the utopist spirit of the Russian intelligentsia. The title of the article indicates not only the temporal frontier between the old Russia and that newborn country of unlimited violence after the Revolution, but also the new situation (so called die Grenzsituation) lived from inside in the light of philosophical and spiritual experience of crisis and hope.

Ключевые слова: русская революция 1917 г., религиозные мыслители начала прошлого века, анализ причин крушения старой России.

Keywords: russian revolution of 1917, religious thinkers of the beginning of the XX century. analysis of the downfall of the old regime in Russia.

Особенность сборника «Из глубины» прежде всего в том, что он был задуман и возник на границе, беспощадно и резко отделившей прошлое от будущего. Перед нами — далеко не академическое чтение; каждого российского читателя, обернувшегося на этот зов, из глубины идущий, подстерегает вопрос: а как бы он откликнулся на событие, которое называлось тогда русской революцией? Но прилагательное «русская», о чем еще не знали авторы книги, вскоре оказалось заменено в России тремя другими, барабанно-торжественными: «Великая», «Октябрьская», «Социалистическая» — все три с заглавной буквы. Эти термины, открывающие дверь мифу, сформировали эпоху, в которую наши мыслители при написании своих текстов едва успели заглянуть. Слова создали страну, известную миру под аббревиатурой из четырех букв, по которым мы не устаем тосковать, хотя каждая из них, по слову французского историка Бориса Суварина, была ложью: за теми буквами не было ни свободного союза, ни доброго совета, ни честного социализма, ни республиканской формы правления.

Но понятие «пограничная ситуация», введенное К. Ясперсом, уводит в сторону от временной границы; оно означает внезапную встречу человека со своей экзистенцией, скрытой сутью. Это происходит в момент потрясения, опасности, острого чувства вины. В такое мгновение, сколько бы оно ни длилось, мы переступаем границу, отделяющую существование повседневное от подлинного, входим в свою глубину. Сборник выражал открывшуюся подлинность в опыте, назовем по-бунински, *Окаянных дней*. Окаянство их было пережито каждым из наших мыслителей не только как общероссийский, но и как личный кризис. То есть суд. «Из глубины» — книга суда. В ней обозначен и сурово обрисован подсудимый — русская интеллигенция. Авторы знали о ее вине не понаслышке, потому что носили ее в себе.

Почти у каждого, по крайней мере, из основных участников и инициаторов сборника — С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева, П. Б. Струве, С. Л. Франка — за спиной скрывалось марксистское прошлое. Идейно оно было ими давно преодолено и отринуто, но корень, из которого выросло, было уже не вырвать: прошлое остается с нами. Семя, некогда посеянное взглядом-возгласом А. Н. Радищева: «Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человеческими уязвлена стала», — принесло свой горький, сочный плод в русской совести. Авторы «Из глубины», будь они из правоведческого, литературного, дипломатического круга, вовсе не были чужды ее бунту. Но подобное семя, умирая в земле, может дать совсем не те всходы, которых от него трепетно ждут.

Кто различит мотив поправленной человечности в русской революции, мечтавшей об освобождении человечества, но начавшей с насилия над человеком, утонувшей в нем, потом от насилия уставшей и в конце концов от усталости рухнувшей? Однако задетый нерв сострадания был и в этой революции, как

и во всякой другой, ибо насилие оправдывало себя высшей справедливостью. Неоправданным, безыдейным, неосвященным оно не продержалось бы так долго. Именно этот мотив утопизма и оправдания услышали авторы сборника, когда выступили единым фронтом против интеллигенции, «согрешившей» той уязвленностью, призрак которой привел страну к катастрофе. Эта книга вышла из страстного, жесткого, умного спора со средой, породившей и ее авторов: ее мысли, страсти, гены, яды они когда-то носили в себе. Споря, они вырабатывали противоядие против давней интеллигентской мечты-отравы. Каждый из этих споров глубоко индивидуален, но основной его настрой пронизывает все тексты. Настрой катастрофичности, вины, обличения, надежды. Но также и скрытого покаяния.

Этим мотивом завораживает читателя статья Николая Бердяева «Духи русской революции», скорее даже не статья, а прокурорская речь, яркая, моралистически узкая, не всегда уравновешенная в своем обличительном пафосе. Патетическая интонация вскоре зазвучит еще сильнее в книге Бердяева «Философия неравенства», о которой сам автор не будет особенно вспоминать в поздние годы. Его спор с идейными недругами — имею в виду «Из глубины» — столь горяч, что вовлекает и читателя, и потому, вероятно, не уходит из его памяти. *Мертвые души* Н. В. Гоголя, злые провидческие персонажи Ф. М. Достоевского, пафос непротивления, фальшивое добро Л. Н. Толстого — вот они, злые духи, вселившиеся в русскую жизнь. Гоголь увидел в России *свинные рыла вместо лиц*, и вот те же рыла вернулись в новом облики и стали полноправными хозяевами жизни и смерти. Достоевский открыл бесовскую одержимость, лежащую в основе революций, но овладевает она людьми гораздо раньше. Толстой же — цитирую Бердяева — «настоящий отравитель колодцев жизни... Толстовская моральная рефлексия есть настоящая отравка...» (283)¹. Так ли это? Позже Бердяев сумел расслышать в морализме Толстого непритворное искание правды, которой ни в прежней русской мысли не было, ни в советской жизни подавно не оказалось; но здесь в его гневе, буквально сочащемся из строк, слышится эхо расчета с самим собой. Когда расчеты закончились, антиморалистический пафос смягчился, автор сменил гнев на милость. Но пророчество, услышанное Бердяевым в героях Достоевского и Гоголя, стало классикой, то есть очевидностью. Великий Инквизитор, Городничий, Хлестаков надолго задержатся на сцене и при следующих актах русской драмы. Да, собственно, куда бы им было деться?

«На пиру богов» Сергея Булгакова с подзаголовком «Pro et Contra. Современные диалоги» — на мой взгляд, подлинный шедевр всей книги. Перечитываю этот текст, и всякий раз меня покоряет пронизательность этих бесед, их фило-

¹ Здесь и далее в случае цитирования из сборника «Из глубины» в круглых скобках приводится номер страницы. — *Прим. ред.*

софская умудренность и литературное изящество, внутренняя подлинность, широта взгляда и какая-то тишина, безгневность авторской души. Каждый их участник здесь наделен своим обликом, характером, слаженным строем мысли. Ничего общего с прямолинейным наскоком Бердяева, нет и рассудительной тягучести академических авторов; Булгаков рассказывает о себе и других разными голосами. Он как бы представляет свой мир в пережитой драме и вместе с тем невзначай знакомит нас с давней Россией, той самой, «которую мы потеряли». В «Современных диалогах» нет отрицательных героев, за каждым голосом — своя правда и искренность, и у нее конкретное живое лицо. Задаешь себе вопрос: за кем же из участников диалогов скрывается сам автор? Кто он: Беженец, Светский богослов, Общественный деятель (а он в момент написания диалогов был и тем, и другим, и третьим) или, может быть, кто-то еще? И не сразу угадываешь. Правда полифонична, широка и человечна, она выражает себя разными голосами, которые в конце сливаются в пасхальном возгласе «Христос воскрес!». Правда, к этому возгласу не присоединяется Дипломат, убежденный противник войны (потом ее назовут Великой или Первой мировой): только так мы узнаем, что Булгаков (в ту пору готовившийся к рукоположению) не с ним.

В статье Сергея Аскольдова «Религиозный смысл русской революции», указывающей на несовместимость революции и религии, можно найти основную мысль всего сборника: «Среди людей религиозного сознания подготавливалась почва к принятию Антихриста под личиной гуманиста-общественника» (237). Мысль эта в книге будет варьироваться еще не раз. И вместе с тем Аскольдов как на одно из зол, породивших революцию, указывает на отделение святого от человеческого и вырождение религиозного в фигуре «святого старца» Распутина, которого Аскольдов противопоставляет непонятому учителю — Владимиру Соловьеву, по сути, не замеченному обществом. Живое пророчество и страшная пародия на него. Второе зло — обособление гуманистического начала, как бы замыкание его в себе; третье — победа природного зверя «и над святым и над человеком во имя будущего царства зверя апокалиптического» (246).

Но апокалиптический зверь (Откр. 13:1-2), библейская антиикона ужаса и хаоса, нес в себе страшную правду, которая могла увлекать и даже завораживать великих поэтов. Вспоминаются строки Волошина из стихотворения «Готовность» (1921):

Апокалиптическому Зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!

Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!»

У Блока прав был «дух музыки», дух подспудных слепых стихий, пославший Христа в «белом венчике из роз» (правду сказать, безвкусный образ) вести за собой двенадцать красногвардейцев, апостолов и бандитов, по ночному снежному Петрограду. Тот «Христос» рождался тоже из какой-то, по-своему духовной, хотя и мутной, глубины иной, нехристианской веры, с которой и спорили участники сборника. О старом мотиве противостояния двух вер (а он остается актуальным и в наши дни) еще будут говорить в своих книгах Бердяев, о. Г. В. Флоровский и немало других: это разрыв между гуманистическим и православным сознанием, между духовностью, посеянной состраданием, поднимающим революционные бури, и духовностью, ищущей спасения в Церкви, молитве, незыблемости уклада жизни.

В этом смысле весь сборник «Из глубины» — реакция на победу извращенного гуманизма, обернувшуюся победой зверя, столь часто поминаемого в книге. Семен Франк в статье «De profundis» говорил о слабости духовных начал в России, подразумевая прежде всего политический, социальный аспект; слабость объясняется отсутствием положительного общественного мирозерцания, которого не оказалось ни у либеральной, ни у консервативной части русского общества (объяснение, которое может показаться слишком общим). «Здоровый, реалистический в своей основе инстинкт народа, — утверждал Франк, — оторвался от духовного корня жизни и стал искать освобождения в темном буйстве злых страстей» (496). Причина, согласно точке зрения мыслителя, в давно назревавшем коренном надломе между верой и жизнью.

Верой во что? — спросим мы. Или верой в Кого? Для авторов сборника имя Россия и народ русский были живой иконой Христа. Пусть часто неверной, искаженной, и все же иконой, в которой все же проглядывает Лик. Наши авторы — читатели и ученики Достоевского, принявшие свою веру, если говорить о ее мистическом социальном измерении, из светлых образов «Записок из Мертвого дома», рассказа «Мужик Марей», из уст старца Зосимы. «От Востока звезда сия воссияет», — предрекал старец.

И вот звезда воссияла. Иная звезда, та, что потрясла окаянством. И многие тогда «потерпели кораблекрушение в вере», прибегая к апостольскому выражению (1 Тим. 1, 19), в той вере, которая не могла обойтись без иконы народа. Икона оказалась разбита, и те, кто поклонялся ей, искали спасения, уцепившись за щепки.

Для Вячеслава Иванова спасение было в языке, сросшемся «с глаголами Церкви» (359). Это та соборная среда, в которой Россия должна выжить и сохра-

ниться, ибо «не может быть обмирщен в глубинах своих русский язык!» (360). (Иванов еще не знал, какому чудовищному насилию русский язык подвергнется в советскую эпоху.) А вот Семен Франк говорил о мечтательном бессилии либеральной интеллигенции, устремленной к добру, и разнузданности темных сил, творящих зло; и все же он, как и большинство других авторов, завершил свой возглас *из глубины*, облеченный в трезвый и рассудительный анализ, интонацией смутного упования.

Ведь невыносимое настоящее должно когда-то закончиться, эпоха мятежей и казней просто обязана завершиться по-пушкински — надеждой славы и добра. «Скоро русский народ предстанет перед миром в великом единстве и цельности», — писал Владимир Муравьев в статье «Рев племени». «Против России грабежа, насилия и разнузданности встает грозной ратью Россия самопожертвования, строгости и подвига» (422). Речь здесь не идет об успехах белых армий, которые тогда только-только подымались, чтобы потерпеть поражение, но о «глубинных залежах, испокон веков обогащавших русское сознание» (Там же). И потому «надо вновь открыть русское прошлое» (Там же) — таков завет Муравьева. Дипломат при Временном правительстве, он окончил свои дни в советской ссылке; но как же настойчиво звучит его призыв в наши дни! «Русское прошлое» продолжает мерцать, очаровывать, манить, даже порой давить в качестве новой национальной идеологии взамен прежней, сгинувшей. Однако, становясь идеологией, неким общим аршином мышления, прошлое как раз предает самое себя.

Обитатели, копатели глубин спорили с прошлым, продолжая надеяться на него, изгоняя из него злых духов, очищая его, заглядывая в светлое *потом*. Известный правовед П. И. Новгородцев озаглавил свою статью «О путях и задачах русской интеллигенции», делая упор на слабость правового сознания как самой интеллигенции, так и народа, веруя, что именно в общем правосознании им «надо быть вместе» (435). Но «сумеет ли народ сразу и быстро, в необыкновенно трудной обстановке в деле порядка и повиновения перейти от иррациональной основы к рациональной, сумеет ли он уловить свои подлинные национальные интересы?..» (445) — вопрошал будущее правовед Н. А. Покровский в статье «Перуново заклатье». Вот мы, люди чаемого будущего, богатые поздним, умным, печальным знанием, чем можем ответить? Самое горькое и простое, что надлежит сказать: дни той интеллигенции, как и того народа, на который уповали правоведы, были тогда сочтены. Не будет больше ни того народа, ни прежней интеллигенции. Однако пограничная ситуация, которую пережили авторы сборника, стала теперь и нашей.

Они спорили с теми, кого еще так недавно видели на привычной политической сцене (народников, анархистов, эсеров, Чернова, Керенского), но почти не

успели заметить ни Маркса, ни Ленина, ни Троцкого с их утопией, которую они уже диктовали из Кремля. Как не предугадали и «кремлевского горца», шедшего вослед и уже дышавшего в спину времени. Они слышали *рев племени*, воспринимая лозунги, воззвания, декреты, речи как бессвязный шум толпы, бушующей за окном. Да, конечно, прав был Струве, когда писал: «Историческая несчастье России, к которому восходит трагическая катастрофа 1917 года, обусловлено тем, что политическая реформа страшно запоздала в России» («Исторический смысл русской революции и национальные задачи»). Все происходившее казалось только судорогой, а судорога ведь не может длиться долго. Отсюда и вымученное почти оправдание революции: «она покончила с властью социализма и политики над умами образованных людей» (476). Сто лет прошло, настал ли ее конец?

У Струве мы встречаем догадку, которая проливает свет на то, что будет потом, после революции. «Можно утверждать, — говорил он, — что не наличие класса как объективного разряда порождает классовое сознание, а, наоборот, наличие классового сознания объективно конституирует класс как социально-психическое явление, как социологическую величину» (470). Таким образом, в начале был научный миф об истории, утопический проект, некий разум, всезнающий, все объяснивший, пародирующий Слово, из которого все начало быть. Миф, скрывшийся за учением Маркса — Ленина, отныне станет в начале всего: устройства государства и поступков людей. Насилие сделает его самостоятельной сущностью, не зависящей от отдельных человеческих особей, даже самых высокостоящих. Классовое, победившее реальность сознание завоевало и заполнило собой страну. Оно превратилось в фантом, который зажил своей жизнью, живее всех живых, незаметно перестав при этом быть собственно классовым, пролетарским. Но в 1918 г. все это находилось в зачаточном состоянии. Тот же Струве мог сказать, что в революции 1917 г. «идеи играли роль случайных украшений, орнаментальных надстроек над разрушительными инстинктами и страстями» (471). Так, кажется, и по сей день: идеи — лишь маски, за ними — буйство толпы, хитрые планы вождей, циничные расчеты, уязвленное честолюбие, реальные системы управления, наконец, угрозы, пытки и слабости человеческие. Все что угодно, только не те «идейные» слова, которые были у всех на устах, а у многих и в головах.

Но слова, как было предсказано, могут легко становиться материальной силой, оседать в вещах, застывать в системах управления, сначала буянить с толпой, а потом спокойно курить трубку, носить китель генералиссимуса и казнить отбуянивших свое убийц-утопистов. Слова будут строить лагеря и шагать вперед пятилетками, крепить армию и индустрию и морить голодом деревню. Они впитают в себя мятущихся духов революции, окаменевших в могучей идейной

империи СССР. Неважно, сколько у этих идей будет преданных душ, важно, что все население страны обретет единую, общую к употреблению, душу, примет определенный ею код поведения, заживет по предписанным матрицам. Оно будет вступать в социалистическое соревнование, голосовать как один, нести портреты на демонстрациях, требовать смерти подлых изменников с подсознательным страхом, что завтра каждый может оказаться в их числе. Да, классовое сознание совершенно не зависело ни от рабочих, ни от крестьянских классов, но в 1918 г. никто еще не мог представить его сверхчеловеческую живучесть. Минуют революционные неистовства, и пламенные большевики пойдут под сталинский топор, отточенный теми же идеями, во имя которых они в свое время расстреливали классовых врагов. Враги изменились, вожди поменялись, классовое ли, партийное, во всяком случае правящее сознание главенствует над миллионами подданных, неважно, верят ли они в него или уже не очень.

Со Струве перекликался С. А. Котляревский. Крупную заслугу русского марксизма он видел в том, что, как сказано в статье «Оздоровление», «его борьба с народничеством была методологической борьбой за право объективного знания» (397). Идейное, «объективное» знание стало теперь единственно возможным и мыслимым, сделалось как бы надмирным трансцендентным объектом, включавшим в себя все человеческие субъекты, оказавшиеся на его территории; территорией же оказалась шестая часть планеты. Оно выбирало своих жрецов, выступавших его полномочными представителями, но вместе с тем от него целиком зависевших, как все жрецы зависят от религии, которой служат. Истоком и смыслом революции было не внешнее ее окаянство, не неистовое кровопролитие, но создание всеобъемлющего государственно-идеологического мифа, точнее, мифа как государства, как основы идеократии. Этот фантом пытался овладеть всей подвластной ему действительностью, которая в конце концов, по мере изнашивания фантома, разорвала его изнутри. Ах, позднее, печальное знание, куда денешься от тебя?

Статья Котляревского завершается неким полупророчеством о начинающемся религиозном возрождении, о возвращении русской интеллигенции к вере. «Социализм — это христианство без Бога» (369), — предложил чеканную формулу А. С. Изгоев в статье «Социализм, культура и большевизм», еще не зная, что вскоре церковное обновленчество начнет тащить Бога в безбожный социализм, но Бог будет упираться и не войдет. Однако в 1918 г. социализм был новой религией, пусть даже ложной, и, как всякая религия, нес свое обетование — аналог Царства Божия на земле.

Представим себе на минуту революцию, которая разыгрывается семейством Карамазовых; мыслящий Иван облакает в идеологию «слезинку ребенка», хмельной Дмитрий понимает ее как руководство к действию и во имя слезинки

громит все и вся; духовный Алеша, мечтая о времени, когда лев ляжет вместе с козленком, согласится, что ради такой перспективы нужно сначала истребить всех львов, а потом при необходимости и козлят. Этим займется Смердяков, сотрудник ЧК, холодный функционер ненависти, вместе с буйным Федором Павловичем, который тоже под знаменем слезинки начнет насиловать и грабить награбленное. Их всех, победителей, не минует потом горькая смерть от руки бессмертного Смердякова; разве что Алеша, отшатнувшись от лжи новой антихристовой религии, покаянно вернется к старой, поднявшейся из-под развалин, и умрет мучеником.

Первые ростки церковного возрождения появились уже в 1918 г., успели расцвести в 1920-х, но затем были срезаны под корень вместе почти со всей Русской Церковью в 1930-х гг. Но это уже другая история, начало которой и возвестил возглас *из глубины*.

Тот голос навсегда останется пронзительным свидетельством не только потрясенной мысли, но и мужества, как и надежд, брошенных в будущее и все еще остающихся надеждами. Спустя сто лет мы встречаемся с ними как, говоря словами А. С. Хомякова, с «таинством свободы» — былой свободы мысли и веры, столь нужной России тогдашней, столь желанной России сегодняшней.

Литература

Из Глубины (1991). Вехи. Из глубины. Сборник статей о русской интеллигенции. М.: Правда, 1991.

Reference

Iz Glubiny (1991). Vekhi. Iz glubiny. Sbornik statej o russkoj intelligentsii. M.: Pravda, 1991.